



Портрет работы А. ШУЛЬЦА

Пути, проложенные Чеховым

КРИТИКА в течение десятилетий творила легенду о Чехове.

Точка отсчета для его «странности» и несходство с другими писателями, его объявляли «человеком без палки», «равнодушным к людям», «певцом сумеречных настроений».

Творчество Чехова — целый этап в развитии русского реализма. Он стал учителем нескольких поколений писателей, русских и зарубежных.

Мы празднуем юбилей крупного художника не ради славословия, а, как говорил В. И. Ленин, «для уяснения своих задач, для уяснения настоящего исторического места писателя».

В. И. Ленин в этих замечательных словах уловил ключ к пониманию многих — самых основных — вопросов, волновавших Толстого, Чехова, писателя следующего поколения.

Чехов предьявлял к людям суровые требования, не позволяя ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом мириться с несовершенствами жизни.

У Чехова нас поражает удивительно последовательное и настойчивое стремление утвердить свой собственный путь в искусстве.

Я ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ

Больше всех я люблю двух русских писателей: Льва Толстого и Антона Чехова. Но если к Толстому я отношусь как к недостижимому образцу писательского искусства, как к патриарху всемирной литературы, то мое отношение к Чехову более интимно.

Ярослав ИВАНШКЕВИЧ

Первая встреча

Я ПОЗНАКОМИЛСЯ с Чеховым в 1920 году. Мне было лет пятнадцать, я был комсомольцем, заведующим избой-читальней. И вдруг мы получили едва ли не первое советское издание собрания сочинений Чехова.

Конечно, в мировоззрении Чехова есть свои слабые стороны. Но нам он дорог тем, чем он силен. В то сумеречное время он увидел и показал нам, как герои его произведений, так же как и их создатель, по капле выдвигаются из себя раба.

СВЕТ БУДУЩЕГО

А НЯ. — Прощай, дом! Прощай, старая жизнь! Прощай, старый мир! Здравствуй, новая жизнь! Почему именно этот диалог вспоминаю мне, когда я подумал о Чехове?

рожденный нашей действительностью метод социалистического реализма. И здесь мне вспоминается один эпизод. Во время гастролей в Лондоне нас водили на экскурсию во дворец королевы Елизаветы.

Очень интересное и дорогое для каждого из нас — участников этих спектаклей — признание. Дорогое потому, что такое понимание Чехова дало нашему Художественному и всему советскому театру не просто и не легко.

ЗНАНИЯ — НАРОДУ В Большом Кремлевском дворце продолжает свою работу нацеливание 26 января III съезд Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний — самой массовой организацией советской интеллигенции.

Заметки на папиросной коробке

У МНОГИХ из нас есть плохая привычка записывать в двух-трех словах свои мысли, впечатления и помыслы телефонов на папиросных коробках. Потом, как правило, коробочку эту терпят, а с ними исчезают из памяти целые дни нашей жизни.

День жизни — это совсем не так просто и не так мало, как может показаться. Попробуйте вспомнить любой свой день минуту за минутой — все встречи, разговоры, мысли, поступки, свои и чужие, — и вы убедитесь, что восстановить весь этот поток времени можно, только написав новую книгу, если не две, а то и все три.

Однажды биограф Чехова А. И. Роскин предложил нам, собравшимся зимой в Ятсинский дом писателей, заняться этой, как он шутил, «работой».

Мы с радостью встретили эту идею Роскина. Каждый начал писать свою «Книгу одного дня», но вскоре все бросили это занятие. «Работка» оказалась труднейшей, почти непосильной даже для опытных и работоспособных мастеров. Она требовала непрерывного напряжения памяти и брала уйма времени, несмотря на то, что при ней отпадала тяжелая для писателя работа о теме, сюжете и композиции. Все делала за нас сама жизнь.

У меня тоже есть плохая привычка записывать свои мысли на чем попало, в частности на папиросных коробках. Я всегда был уверен, что никогда не потеряю эти записки, но тогда терял их.

Эти небрежные эти записки я оправдал тем, что Эдуард Баргшиц читал мне свои стихи «По рыбам, но звездам проносит шандаль», считывая их с затрещавшей папиросной коробки «Герцогиня-Флор».

Я обещал написать статью о Чехове. Но, начав ее, тут же убедился, что писать сейчас о Чехове в том жанре, какой мы определяем словом «статья», очень трудно и, пожалуй, почти невозможно. Кажется, что все слова в русском языке, которые можно отнести к Чехову, уже сказаны, уже истрачены. Любовь к Чехову переросла наши словарные богатства. Она, как и каждая большая любовь, быстро исчерпала запас наших лучших выражений. Возникает опасность повторений и общих мест.

О Чехове сказано как будто все. Но пока еще мало сказано о том, что оставил Чехов нам в наследство в наших характерах и как Чехов своим существованием определил сегодня жизнь тех, кому он дорог.

Почти ничего не сказано о «чувстве Чехова» — всегда живого и милого

нам человека, о чувстве сильном и благородном.

И вот я решил статью не писать, а обратиться к своим запискам на папиросной коробке. Может быть, там где-нибудь и проскользнет то «чувство Чехова», которое я не могу еще точно определить.

Записки эти, как я уже говорил, очень короткие. Например: «1950 год. Я один в доме. Мохнатая собачка лает вину. По традиции ее зовут Каштанкой».

Память получила легкий толчок и начинает восстанавливать прошлое. Это было осенью 1950 года. Я пришел в Ятсинский дом Чехова к Марии Павловне. Ее не было, она ушла куда-то по соседству, а я остался ждать ее в доме. Старуха-работница провела меня на террасу.

Стояла та обманчивая и удивительная ятсинская осень, когда нельзя понять — доцветает ли весна или расцветает прозрачная осень. За балюстрадой горел на солнце во всей своей девственной белизне куст каких-то цветов.

Цветы уже осыпались от каждого веника или, вернее, дыхания воздуха. Я знал, что этот куст был посажен Антоном Павловичем, и боялся прикосновений к нему, хотя мне и хотелось сорвать на память хоть самую ничтожную веточку. Наконец я решился, протянул руку к кусту и тотчас же отдернул ее — снизу, из сада, на меня задела мохнатая рыжая собачка по имени Каштанка. Она отбрасывала задними лапами землю и лаяла совершенно так, как писал Чехов:

«Р-р... ига-ига-ига! Р-р... ига-ига-ига!»

Я невольно рассмеялся. Собачка села, раставила уши и начала слушать. Солнце просвечивало ее желтые добрые глаза.

Было тихо, тепло. Синий солнечный дым подымался к небу со стороны моря, как широкий занавес, и за этим занавесом мощно и мужественно, в три тона, протрубил телеподход.

Я услышал в комнатах добрый голос Марии Павловны, и вдруг у меня сердце сжалось с такой силой, что я с трудом сдержал слезы. О чем? О том, что жизнь неуловима, что хотя бы некоторым людям, без которых мы почти не можем жить, она должна бы дать если не бессмертие, то долгую жизнь, чтобы мы всегда ощущали у себя на плече их легкую руку.

Я тут же устыдился этих мыслей, но горечь не проходила. Разум говорил одно, а сердце — другое. Мне казалось, что в то мгновение я отдал бы половину жизни, чтобы услышать из дверной щели шаги и понаблюдать давним-давно ушедшего отсюда хозяина этого дома. Давным-давно! Со дня его смерти прошло 46 лет. Этот срок казался мне одновременно и ничтожным, и невыносимо огромным.

Его слезы видел только писатель Тихонов (Серебров), когда Чехов незадолго до смерти привозил в Саяновском переулке на Урал, в Саскал Тихонов провозгласил потрясающее впечатление. То были скрытые от всех ночные слезы одинокого, по существу, брошенного и умирающего человека.

И слезы свои и свои страдания Чехов скрывал по своей доброте, по огромному своему мужеству и благородству. — только для того, чтобы не омрачать жизнь близким, чтобы не причинять окружающим даже тени неприятности.

Я разобрал еще одну записку: «Роскин всегда мало» — сразу же вспомнил вечер, когда мы с поэтом Луговским стояли в кабинете Чехова перед камином и смотрели на левитановские «Стелы».

Серые сумерки и бледная луна над мглистыми болотами, крик дергачей, огромные пространства лесов, просторливых этой ночью и сотнями других ночей втуне. Потому, что никто не видел их сырой и полблестящей березовой листвы и не слышал их загадочных шорохов.

Леса были покоснуты, один. Ночь одиноко и напрасно шла над ними, в огладеющему расцвету. Ни у Чехова, ни у Луговского, ни у нас не было здесь, ничего не было, когда ему нужно, до зарезу нужно было там, в России, на севере, чтобы следить за отблесками ночи на тесовой крыше избы или в омутах родных притихших озер.

Он врался в Россию, он мучился и сгорал от досады, от горечи, от того, что не видел, а только угадывал все ее пересказанную и неразрешенную красоту.

Сожаление о жизни очень короткой и, по его мнению, почти бессильной и только слегка задевшей его своим быстрым крылом, мучило его в этом доме с его давно установившимся уютом конца XIX века.

И не только его. Почему-то почти каждый человек, попавший в этот дом, начинал думать о своей судьбе, особенно если он проглаголал свою жизнь и только сейчас спохватывался.

Почему так случалось, трудно сказать. Очевидно, гармоничность чеховской жизни и его подлинный оптимизм заставляли людей проверять свою жизнь.

Цветы за балюстрадой тихою опалили. Я смотрел на перепархивавшие легчайших лепестков, боялся, чтобы Мария Павловна не вошла раньше времени и не заметила моего волнения, и успевал себя совершенно искусственным мыслям о том, что в какой-то ветке этого куста есть нечто вечное, постоянное движение соков под корою — такое же постоянное, как и ночное движение светил над тихо шумящим морем.

Пришла Мария Павловна, заговорила о Левитане, рассказывала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покресела от смущения, как девочка.

Сам не зная почему, но я выслушав Марию Павловну, сказал:

«У каждого, должно быть, была своя «Дамы с собачкой». А если не была, то обязательно будет».

Мария Павловна снисходительно улыбнулась и ничего не ответила.

После этого я много раз приходил в чеховский дом в разные времена года. Внутрь я входил редко. Чаще всего я прислонялся к оградке и, постояв немного, уходил.

Особенно приятным был этот дом зимой. Низкая тьма висела над морем. В ней тускло проступали бортовые огни парохода, и я, по рассказам моряков, знал, что с палубы парохода иногда можно увидеть в бинокль освещенное лампой с зеленым абажуром окно чеховского кабинета.

Странно было думать, что огонь этой лампы был зажжен на самом краю страны, что здесь обрывалась над морем Россия, а там, дальше, уже лежал в ночи древние малоазийские страны.

Я разбирал еще одну записку: «Зима в Ялте, снег из Ялты, его надо над Ауткой. Да. Зима в Ялте делается крошечка легкого снега. Он отсвечивал в блеске луны. Ночная тишина спускалась с гор на Ялту».

Чехов все это видел вот так же, как мы, все это знал. Иногда, по словам Марии Павловны, он гасил лампу и долго сидел один в темноте, глядя за окна, где неподвижно сияли снега.

Иногда он выходил в сад, но тайком, чтобы не разбудить и не напугать мать и сестру. Мучила бессонница, и он долго бродил в ночной темноте один, как бы забытый всеми, несмотря на то, что слава его уже жила во всем мире. Но в такие вечера она не тяготила его.

А рядом белел дом, ставший притонем русской литературы. Давно замолкли в нем голоса Куприна, Горького, Мамин-Сибиряка, Станиславского, Бунина, Рахманинова, Короленко, но отголоски их как бы жили в доме. И дом ждал их возвращении. Ждал и хозяин, тревожившийся только наседне, по ночам, когда никто не мог этого заметить, когда его болезнь, тоска и тревога шикого не могли вытолкнуть.

Во всей огромной литературе о Чехове, во всех воспоминаниях о нем нет ни одного слова о том, что Чехов когда-нибудь плакал.

Его слезы видел только писатель Тихонов (Серебров), когда Чехов незадолго до смерти привозил в Саяновском переулке на Урал, в Саскал Тихонов провозгласил потрясающее впечатление. То были скрытые от всех ночные слезы одинокого, по существу, брошенного и умирающего человека.

И слезы свои и свои страдания Чехов скрывал по своей доброте, по огромному своему мужеству и благородству. — только для того, чтобы не омрачать жизнь близким, чтобы не причинять окружающим даже тени неприятности.

Я разобрал еще одну записку: «Роскин всегда мало» — сразу же вспомнил вечер, когда мы с поэтом Луговским стояли в кабинете Чехова перед камином и смотрели на левитановские «Стелы».

Серые сумерки и бледная луна над мглистыми болотами, крик дергачей, огромные пространства лесов, просторливых этой ночью и сотнями других ночей втуне. Потому, что никто не видел их сырой и полблестящей березовой листвы и не слышал их загадочных шорохов.

Леса были покоснуты, один. Ночь одиноко и напрасно шла над ними, в огладеющему расцвету. Ни у Чехова, ни у Луговского, ни у нас не было здесь, ничего не было, когда ему нужно, до зарезу нужно было там, в России, на севере, чтобы следить за отблесками ночи на тесовой крыше избы или в омутах родных притихших озер.

Он врался в Россию, он мучился и сгорал от досады, от горечи, от того, что не видел, а только угадывал все ее пересказанную и неразрешенную красоту.

бывателя и пустошутину с легкой пошлостью до человека удивительной внутренней красоты, благородства и спокойного мужества — был поразительно нагладен. Он сам себя воспитал. Он сам себя сделал таким и дал нам суровый урок порядочности по отношению к людям и к своему писательскому делу.

Чехов много страдал от предвзятости. Его провозгласили певцом тоски, скуки, ниты.

Страдал от предвзятости и Бунин, и чуть ли не до самой смерти. Критика объявляла его баринном, ледяным сердцем.

Только сейчас, когда опубликованы достоверная биография Бунина и его переписка, вдруг выяснилось, что это крепостник был мелким служащим из земства и репортером, обивал пороги в поисках грошевого заработка, выпрашивал у старшего брата по два-три рубля, чтобы не умереть вместе с большой матерью от голода, испытывая множество унижений и неудач.

Сколько вымотанных нервов, скольких ненаписанных книг стоили эти претупные насюнки критики и Чехову, и Бунину, и многим другим писателям. Этого, конечно, не сочтешь.

Две последние записки очень уж коротки, только по одному слову. Первая записку — «тепий», а вторая — «доброта».

Ничего неясного в этих записках нет. Чехов — писатель гениальный. Это бесспорно. Но во внимание к его исключительной скромности никто из людей, писавших о нем, не сказал об этом прямо. Даже после смерти Чехова мы стеснялись об этом говорить, чтобы не рассердить его. Сам Чехов наложил запрет на это слово.

Чехов был скромнее, как может быть скромным только подлинно великий человек. Он с яростью относился к чванству, к спеси, к хвастовству.

Вспомнил, что самое характерное качество бесспорного писателя заключается в том, что он ведет себя просто и снисходительно, как первобытный. Скромность — одна из величайших черт русского народа. Скромники были все простые и замечательные русские люди. Ни один из них не занимался самохвальством, не улюлюкал на чужаков, не ставил себя в пример всем.

В скромности — моральная сила и чистота народа, в бахвальстве — его ничтожность и недостаток ума.

Относительно записки «доброта» можно сказать очень много. Но остается мало времени и места.

Можно говорить о доброте самого Чехова как человека, но гораздо важнее то обстоятельство, что Чехов был добр и гуманен как писатель. Пожалуй, нет в нашей литературе другого человека, который бы с большим добротелю относился к людям.

Да, он был добр, но беспощаден. Он умел ненавидеть, он не был милостивым провидением всероссийским. Но он знал глубину чеховского горя и ужаса людского несчастья, знал, как врач и писатель, и требовал от людей милосердия друг к другу.

Влияние Чехова в этом отношении было и остается огромным. Почти все передовое интеллигентное и в лучших своих образах — так, как «Рим в 11 часов», «Похитители слесарев», «Машинист», «Полцейские и воры», «Мечты на дорогах» — вышло из чеховского гуманизма.

Этой чеховской добротой, его эзикального гуманизма не хватало некоторым провоздвигателям нашей литературы. Это объединяет их и лишает в какой-то степени одного из сильнейших качеств.

Вот расшифровка всех записок, какие я нашел на своей старой папиросной коробке. Благодаря им я кое-что сохранил в своей памяти и смог рассказать об этом обаятельном человеке и писателе.

Самое его существование доказывает нам возможность и необходимость подлинного человеческого счастья, ради которого мы работаем, боремся и подвигаемся.

Ялта, январь

СЕКРЕТ НАШЕЙ ЛЮБВИ

Чехов — слава и гордость русского народа, русской литературы, это человек, замечательное творчество которого открыло новую страницу в русской прозе и драматургии. Новатор формы, тонкий мастер, глубокий знаток человеческой психологии!

А. П. Чехов создал свой мир и свою школу. Многие писатели России и других народов учились и учатся у Чехова. Это относится и к армянской литературе. Наш известный писатель, современник Чехова, Стефан Зорьян

Чехов является носителем лучших традиций русского искусства. Чехов и в рассказе, и в пьесе всегда верен в грядущие светлые дни. Он хотел видеть человека свободным от пороков, от мелочности, от ханжества, от лицемерия, от пренебрежения к своему искусству. И никогда Чехов не оставался в прошлом, он будет спутником человечества, будет в пути с поколениями, идущими в будущее.

Подлинное искусство живо всегда, оно всегда нужно новым поколениям. И никогда Чехов не останется в прошлом, он будет спутником человечества, будет в пути с поколениями, идущими в будущее.

Музей-усадьба Мелихово. Кабинет А. П. Чехова во флигеле. Рисунок С. М. ЧЕХОВА

В чем же секрет этой любви? Хотя в произведении Чехова описаны иррациональные стороны современной ему жизни, Чехов никогда не терял светлой веры в человека, и его творчество его оптимистично. С отращиванием и невинно относит к жестоко костям и несправдливостям жизни, Чехов и в рассказе, и в пьесе всегда верен в грядущие светлые дни. Он хотел видеть человека свободным от пороков, от мелочности, от ханжества, от лицемерия, от пренебрежения к своему искусству. И никогда Чехов не оставался в прошлом, он будет спутником человечества, будет в пути с поколениями, идущими в будущее.

Чехов и в рассказе, и в пьесе всегда верен в грядущие светлые дни. Он хотел видеть человека свободным от пороков, от мелочности, от ханжества, от лицемерия, от пренебрежения к своему искусству. И никогда Чехов не оставался в прошлом, он будет спутником человечества, будет в пути с поколениями, идущими в будущее.

Чехов и в рассказе, и в пьесе всегда верен в грядущие светлые дни. Он хотел видеть человека свободным от пороков, от мелочности, от ханжества, от лицемерия, от пренебрежения к своему искусству. И никогда Чехов не оставался в прошлом, он будет спутником человечества, будет в пути с поколениями, идущими в будущее.

Чехов и в рассказе, и в пьесе всегда верен в грядущие светлые дни. Он хотел видеть человека свободным от пороков, от мелочности, от ханжества, от лицемерия, от пренебрежения к своему искусству. И никогда Чехов не оставался в прошлом, он будет спутником человечества, будет в пути с поколениями, идущими в будущее.

Чехов и в рассказе, и в пьесе всегда верен в грядущие светлые дни. Он хотел видеть человека свободным от пороков, от мелочности, от ханжества, от лицемерия, от пренебрежения к своему искусству. И никогда Чехов не оставался в прошлом, он будет спутником человечества, будет в пути с поколениями, идущими в будущее.

САМЫЙ БЛИЗКИЙ

— Я очень люблю Чехова, это один из моих самых любимых писателей. Люблю читать и перечитывать не только его рассказы, повести, драмы, но и записки, письма. Искренне рад, что столетие со дня его рождения вновь привлекает к нему внимание всего прогрессивного человечества.

Конечно, и не литературовед и не смогу дать должную оценку творчеству выдающегося русского писателя, который, как мне кажется, еще далеко не до конца изучен и далеко не всегда правильно понят. Но если бы мне вдруг пришлось писать диссертацию о каком-нибудь из писателей, то я написал бы ее именно о Чехове, настолько он мне внутренне близок. Читая его, я порой узнаю себя; мне кажется, каждый из нас Чехов в его столкновениях с жизнью, реагировал бы точно так же, как и он.

Вся жизнь Чехова — образец чистоты, скромности, и не показной, а внутренней. Вероятно, поэтому я не являюсь сторонником некоторых мемуарных изданий, которые можно расценить только как ложку сахара в чашку мела. В частности, я очень сожалеею о том, что была опубликована переписка Антона Павловича с О. А. Кипер-Чеховой, настолько интимная, что не хотелось бы много видеть напечатанным. Я говорю это, особенно уважая строгий стиль отношений писателя к своему труду. Он не решался публиковать свои произведения, пока не доведи их до совершенства.

Биография Чехова — одна из наиболее чистых и благородных биографий. Меня восхищает его житийский подвиг — поездка на Сахалин, стремление увидеть все своими глазами, понять, почувствовать самому. У нас созданы богатейшие литературоведческие труды — Пушкинская, Горьковская, но пока еще, к сожалению, нет чеховианы. А жизнь и творчество Чехова дают для этого богатейший материал.

Взять хотя бы произведение Чехова с точки зрения музыканта. До сих пор ни наши отяжеления и музыка, хотя многие чеховские вещи исключительно музыкальны по своему построению. Например, повесть «Черный монах» и воспринимается как вещь, построенная в сонатной форме.

Над творчеством Чехова в наши дни думают и работают многие советские мастера искусства. Мне кажется, довелось देखать своеобразный экзамен у художников Курдюмских. Они показывали мне свои иллюстрации к Чехову, в процессе работы над ними, и как легко было узнавать, какими произведениями они посвящались. Это делает честь Курдюмским, тонко чувствующим характер чеховского творчества.

Я уверен, что с каждым годом театры, композиторы, художники, обрабатывающие в сокровищнице чеховского творчества, будут все больше. Ведь сокровищница эта неисчерпаема.

Шон ОКЕИСИ

ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК

В чем для меня значение творчества Чехова? Он мой друг, он великий писатель, великий драматург, великий человек. Время от времени он приходит ко мне, усаживается рядом, и мы начинаем беседовать. Он присовокупляет к Шекспиру, Шоу, Уитмену и другим, и я отличаю прожорливую время в их обществе. Подсаживаются к нам и ученики, мужчины и женщины, давние как знакомые, забывшие нас от многих болезней. Великих людей среди нас немного. Но мы знаем их, наслаждаемся ими, радуемся тому, что они сливаются с нами воедино. Чехов неизменно находится в центре. Вот уж кто поистине родился в сорочке. Поэт, как и Уитмен, драматург, как и Шекспир, великий человек, как и все они, он словно сошел в себе всех. Но Чехов еще больше. Он друг.

Торки (Англия).

Воллощение ума и души

Чехов воплощает чистоту ума и души. Как художник он полвека тому назад поднимал трагическое отсутствие цели в России. Как человек, сведущий в науке, он сознавал, что реальность — источник мастерства подлинного писателя. Он безудержно умел уравновешивать науку и действительность.

Брукс АТКИНСОН, американский театральный критик Нью-Йорк. (По телефону)

Сразу после смерти Чехова М. Горький сказал: «Нужно по мере сил пострадать».

САМЫЙ БЛИЗКИЙ

— Я очень люблю Чехова, это один из моих самых любимых писателей. Люблю читать и перечитывать не только его рассказы, повести, драмы, но и записки, письма. Искренне рад, что столетие со дня его рождения вновь привлекает к нему внимание всего прогрессивного человечества.

Конечно, и не литературовед и не смогу дать должную оценку творчеству выдающегося русского писателя, который, как мне кажется, еще далеко не до конца изучен и далеко не всегда правильно понят. Но если бы мне вдруг пришлось писать диссертацию о каком-нибудь из писателей, то я написал бы ее именно о Чехове, настолько он мне внутренне близок. Читая его, я порой узнаю себя; мне кажется, каждый из нас Чехов в его столкновениях с жизнью, реагировал бы точно так же, как и он.

Вся жизнь Чехова — образец чистоты, скромности, и не показной, а внутренней. Вероятно, поэтому я не являюсь сторонником некоторых мемуарных изданий, которые можно расценить только как ложку сахара в чашку мела. В частности, я очень сожалеею о том, что была опубликована переписка Антона Павловича с О. А. Кипер-Чеховой, настолько интимная, что не хотелось бы много видеть напечатанным. Я говорю это, особенно уважая строгий стиль отношений писателя к своему труду. Он не решался публиковать свои произведения, пока не доведи их до совершенства.

Биография Чехова — одна из наиболее чистых и благородных биографий. Меня восхищает его житийский подвиг — поездка на Сахалин, стремление увидеть все своими глазами, понять, почувствовать самому. У нас созданы богатейшие литературоведческие труды — Пушкинская, Горьковская, но пока еще, к сожалению, нет чеховианы. А жизнь и творчество Чехова дают для этого богатейший материал.

Взять хотя бы произведение Чехова с точки зрения музыканта. До сих пор ни наши отяжеления и музыка, хотя многие чеховские вещи исключительно музыкальны по своему построению. Например, повесть «Черный монах» и воспринимается как вещь, построенная в сонатной форме.

Над творчеством Чехова в наши дни думают и работают многие советские мастера искусства. Мне кажется, довелось देखать своеобразный экзамен у художников Курдюмских. Они показывали мне свои иллюстрации к Чехову, в процессе работы над ними, и как легко было узнавать, какими произведениями они посвящались. Это делает честь Курдюмским, тонко чувствующим характер чеховского творчества.

Я уверен, что с каждым годом театры, композиторы, художники, обрабатывающие в сокровищнице чеховского творчества, будут все больше. Ведь сокровищница эта неисчерпаема.

Шон ОКЕИСИ

ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК

В чем для меня значение творчества Чехова? Он мой друг, он великий писатель, великий драматург, великий человек. Время от времени он приходит ко мне, усаживается рядом, и мы начинаем беседовать. Он присовокупляет к Шекспиру, Шоу, Уитмену и другим, и я отличаю прожорливую время в их обществе. Подсаживаются к нам и ученики, мужчины и женщины, давние как знакомые, забывшие нас от многих болезней. Великих людей среди нас немного. Но мы знаем их, наслаждаемся ими, радуемся тому, что они сливаются с нами воедино. Чехов неизменно находится в центре. Вот уж кто поистине родился в сорочке. Поэт, как и Уитмен, драматург, как и Шекспир, великий человек, как и все они, он словно сошел в себе всех. Но Чехов еще больше. Он друг.

Торки (Англия).

Воллощение ума и души

Чехов воплощает чистоту ума и души. Как художник он полвека тому назад поднимал трагическое отсутствие цели в России. Как человек, сведущий в науке, он сознавал, что реальность — источник мастерства подлинного писателя. Он безудержно умел уравновешивать науку и действительность.

Брукс АТКИНСОН, американский театральный критик Нью-Йорк. (По телефону)

Сразу после смерти Чехова М. Горький сказал: «Нужно по мере сил пострадать».



Сцена из пьесы-шутки А. П. Чехова «Медведь» в исполнении голландских артистов.

Благодарность Италии

АНТОН Павлович Чехов всегда пользовался большой любовью в Италии, и любовь эта все возрастает. Влияние его рассказов и пьес на итальянскую литературу было всегда очень проникновенным и сильным. Интересно проследить это влияние вплоть до сегодняшнего дня, непосредственное или косвенное, сознательное или подсознательное, на самых крупных писателей моей страны.

И естественно поэтому, что теперь, когда празднуется столетний юбилей со дня рождения Чехова, мы вспоминаем о нем с восхищением. Газеты в эти дни публикуют исследования, очерки, критические статьи, в театрах идут его пьесы.

На днях вечером, выходя из римского театра «Комета», где идет «Лялька», я размышлял об Антоне Павловиче. Артисты вновь открыли передо мной его мир, и как при чтении написанных им строк, перед моим мысленным взором оживали осязаемые вещи — предстало именно то, что я считал основным характером поэтического лиризма наших времен: свободное и человеческое чувство современности. Каждый из его образов по-новому и реалистично плоских, его персонажи многогранны, основательны, всегда различны, как сама действительность в своем развитии.

Герои Чехова погружены в подлинную, плотную, почти зримую и красочную атмосферу, являющуюся так же самой жизнью, реальностью времени. В этой сверхиндивидуальной структуре

таким образом, неправильно утверждали многие, что новеллы или драмы Чехова — это кусочек действительности, отрезок, частичка «ломтик жизни». Он ничего не режет, не изолирует, у него нет начала и конца, абстрагирования во времени. Его герой — может быть, конечная жизнь, самоубийство, уничтожение — один из элементов бесконечной жизни, но это не будет последним аккордом в механизме индивидуальной истории, так как Чехов — один из величайших изобретателей или первооткрывателей новой пьесы: он рассматривает человека или персонажа как центр, где скрещиваются различные судьбы, существования, взаимоотношения, развивающиеся до бесконечности.

К повествованию Чехова надо подходить с новой меркой — меркой современного повествования, заключающей в себе определенное суждение о вещах. Именно о Чехове думал я в Эрмитаже, размышляя об этом новом измерении в живописи, перед картинами Рембрандта с фигурами, погруженными в тень и пропитанными непрерывным, все обновляющимся светом.

Чехов не пользуется схемами, укладывающая в них действия индивидуумов. Собойтия у него протекают во времени, поток вечности не абстрагируется, а состоит из настоящих вещей и существующих, из жизни большой страны и на соседней того времени — кризиса и пробуждения, отчаяния и веры в будущее. Поэтическое содержание у Чехова конкретизируется в человеческих судьбах, стремлениях, мечте и воле людей, живущих в мире, стоящем на пороге перемен, ожидаемых им с уверенностью, которая временами граничит с тоской. Этот мир похож на зимний снежный вечер, когда в воздухе кружится бесчисленное количество снега, то тихо опускается на землю, то кружится по воле ветра; и все-таки мы знаем, что это обязательно наступит и солнце засияет на зелени лугов.

Вместе с Чеховым кончатся традиционный роман, героиничность, индивидуальность. На их место приходят обычные люди того времени. Их судьбы тесно связаны со своим, а ожидание перемещает возможность свет

В ТЫСЯЧАХ И ТЫСЯЧАХ ИЕРОГЛИФОВ

В ПАСМУРНОЕ воскресенье 24 марта 1935 года Лу Синь записал в своем дневнике: «Ночью закончил перевод трех рассказов Чехова, всего около восьми тысяч иероглифов; полностью завершена работа над всеми 8 рассказами».

Лу Синь неизменно восхищался талантом Чехова, который был дорог и близок его сердцу лирика и бойца, и в известной мере испытал на себе влияние чеховского творчества. Еще в молодые годы во время учебы в Японии он собирался переводить «Дуэль». Другие детали и замыслы в ту пору отлегли писателя. Но Чехову он оставался верен всю жизнь.

Позже Лу Синь писал, что книги Боккаччо и Гюго он предпочитает книгам Чехова и Горького, «ибо они ближе к нашему миру», а однажды он прямо сказал, что Чехов — его любимый писатель.

Многие родили эти двух мастеров слова, многие их объединяет, сближает.

Успевая одобрительно отметить китайские приемы, камелены и белковые, точно так же копипиные небо в Китае, как и в старой России, боль за судьбу талантливых, обездоленных людей вызвали у Лу Синя, как и у Чехова, большую оиду за человека, рождала печаль и гнев. Может быть, поэтому, что обним писателям была близка медицина, они умели зорко разглядеть болезни старого общества; оба страдали, видя страдания людей, стремились помочь, вселить надежду, веру в человека, в силу его души.

Близость творчества двух писателей, идейная и духовная, сказалась и в том, что оба они заговорили об ответственности интеллигенции перед народом. У Чехова — реалиста китайский писатель Лу Синь учился не только глубине и зоркости видения, но и умение строить сюжет, не задерживаясь на второстепенном, побочном, стремясь лишь к тому, чтобы достаточно полно передать свои мысли.

Но Чехов и Лу Синь жили в разные эпохи. Отсюда и существенное различие в их творчестве. Первым это точно подметил Го Мо-жо в своей статье «Чехов на Востоке», написанной 16 лет назад. «То, что творческая работа Лу Синя», — писал Го Мо-жо, — протекла спустя более чем 30 лет после смерти Чехова, позволило ему собственными глазами увидеть победу Октябрьской революции в СССР и подьем прогрессивных сил в Китае... То, что Чехов еще не мог громко, во всеушеслышание сказать, выразили Лу Синь и Горький». Советский писатель А. Фадеев в свою очередь писал о Лу Сине: «По духу он — рядом с Чеховым и Горьким». Два эти высказывания, китайского и советского литераторов, ярко показывают тесную, кровную связь творчества этих художников слова.

На произведениях Чехова в Китае воспитывались многие литераторы-бойцы, те, кого Лу Синь называл тогда «разрушителями словом». Влияние Чехова можно проследить в творчестве целого ряда китайских писателей, начиная с прозаиков Мао Дуаня, Ба Цзиня и других и кончая драматургами Сю Янем и Цао Юем.

Цао Юэ — один из самых талантливых современных китайских драматургов, интересен тем, что он, как никто другой, испытал влияние чеховской драматургии. И неслучайно Цао Юэ пишет: «Чехов открыл передо мной большие ворота».

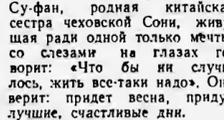
Своими песнями, созданными в мрачное время гоминдановского господства, Цао Юэ так же, как и Чехов, предсказывал, что солнце должно взойти. «Я намекал на великое будущее...» — говорит Цао Юэ. Тема эта звучит и в его песне «Восход», присутствующей она и в «Синантропах».

Будучи подлинным художником, Цао Юэ, создававший свои песни три десятилетия спустя после смерти Чехова, в условиях иной действительности, далеко от рабского, слепого подражания. Его песни глубоко национальны, они — зеркало жизни старого Китая той эпохи.

Среди героев «Синантропов» — персонажи, у которых мы находим некоторые черты чеховских героев, знакомых нам мечтателей, способных лишь строить воздушные замки.

Таким образом, многие обитатели «дворянского гнезда» — дома Цзанов. Перед нами проходит «скупая» и немногословная история жизни этих людей. Один из них, создавая, как так дальные жить нельзя, смирились, друг и ревнует на волю, пытаются на йти силы, чтобы поправить миром. Кроткая, работая в а Су-фан, родная китайская сестра чеховской Соии, живущая ради одной только мечты, со слезами на глазах говорит: «Что бы ни случилось, жить все-таки надо». Она верит: придет весна, придут листья, счастливые дни.

Неслучайно, по-видимому, также и то, что вслед за Чеховым Цао Юэ назвал эту свою повесть комедией, хотя в ней и силен, казалось бы, на первый взгляд драматический элемент. Сегодня для литераторов народного Китая Чехов по-прежнему остается верным учителем и другом. Цао Юэ, например, изучает его ныне в поллиннике, часто прослушивает пластинки с записью чеховских спектаклей в исполнении артистов МХАТа. У Чехова, говорит Цао Юэ, надо учиться так же глубоко, как сейчас изучают литературу, ярко показывая тесную, кровную связь творчества этих художников слова.



Соня (арт. Лу Синь). Рис. худ. Ху Као

Р. БЕЛОУСОВ



На сцене: сцена из спектакля «Дядя Ваня» в постановке Китайского театра молодежи (1934 г.)

Через всю жизнь

ЧЕХОВ приходит к нам в детстве и сопровождает нас всю жизнь так же, как Свифт, Сервантес, Пушкин, Толстой. Это — качество гения.

Детям нас поражает история рыжей собачки, похожей на лису, помесь таксы с дворняжкой, и путешествие Белобого в волюю нору, и ужасный, непорочный поступок мальчика Ваньки Жукова. Это — на заре жизни. Каждая книга открывается, как неизведанный мир, и мир открывается, как книга.

Потом наступает увлечение Антошей Чехонте, Чеховым «Осколков» и «Будильника». Нет ничего смешнее маленьких рассказов, как один разговоры, — но какие! Ах, что за удовольствие читать вслух про главных чиновников, смешных помещиков, жалких актеров, крестьян с курными молами! А бесчисленные дамочки, гувернантки, гимназистки, женщины, куртки, тетки, городские, с которыми случаются такие удивительные истории с неожиданными концом! Ведь это смешно до слез, когда лодка намина. Кучер Василий лезет в воду: «Я сижу... Который тут налим?»

Чехов любимый писатель юности. Он и сам юн в годы, когда создаются эти шедевры юмора, любит шутку, веселье, выдумка его неистощима, он работает упоенно, с блистательной быстротой.

Мы становимся старше, и меняется наша любовь к Чехову. Она меняется всю жизнь. Она вырастает тихой и незаметной, как куст сирени в саду. Уже не «Заблудшие», не «Пересола» восхищают нас, а повитичный «Дом с мезонином», грустный и трогательный «Послеуны», рассказ о доме с собачкой, о доброй Ольге Семеновне, которую называли «душечка», об учителе Белокове.

А потом нам открывается бескрайний, ошеломляющий простор «Степи», мы углубаемся затененные глубины в «Кривошиях», в «Мужиках», понимаем «Случайную историю», понимаем «Студента».

И еще остаются его письма, которые можно читать до конца жизни. Внимание Чехова на мировое искусство огромно, даже трудно определить всю его меру. Скажу лишь о частности. Чехов открыл великую силу недосказанного. Силу, заключающуюся в простых словах и в краткости.

Чтобы увидеть волшебное применение этой силы, не надо даже брать литературное, знаменитое рассказы. Вот, например, маленький рассказ «Шампанское». Бродега рассказывает о своей загубленной жизни. Помните конец? Все основные события, вся житейская драма заключены в нескольких словах. «Не помню, что было потом. Кому угодно знать, как начинается любовь, то пусть читает романы и длинные повести, а я скажу только немного и словами все того же глупого романа:»

Знать увидел вас. Я не в добрый час... Все полагает к черту верник кондом вина... Вот так рассказ! О самом главном, что должно бы составлять его сюжет, автор ничего не хочет рассказывать. «Не помню, что было потом». Но читатель, оказавшись, и не нужно ничего больше знать. Жизнь человека вдруг открылась на мгн. секунду, как одинокое дерево во время грозы, озаренное молнией. И погасла. И читатель все понял сердцем.

Он не понял только одного: как добился писатель этого чуда, этого впечатления при помощи простых, обыкновенных слов? Чехов писал не о человеестве, но о людях. Его интересовало не бытие человека, а жизнь его. Жизнь одного, конкретного человека; например, дяди Ваня. И все дядя Ваня мира ответная трепетом и слезами, когда он написал об одном из них.

Он исследовал души. Эта область для исследования безгранична.

Вот мы расщепили атом, стравили в космос, достигли фантастических чудес в науке и технике, но душа человека — одного человека — как какой-нибудь дядя Ваня — по-прежнему остается самым сложным и загадочным явлением природы. Мы будем еще много веков узнавать себя и удивляться. А значит будем читать Чехова.

Разве не удивительно: нам, советским людям, понятны и близки мысли и чувства чеховских героев! Ведь наша страна изменилась неузнаваемо, изменились нравы, быт людей, строй жизни, весь мир, нас окружающий. И однако — как близки, как понятны! Но не щемящая сердце грусть, не безнадежная мечтательность чеховских героев делают их такими близкими. Нас волнует другое. Мы чувствуем исходящий из чеховских рассказов и повес страстный призыв: «Люди, сделайте лучше! Будьте добрее, красивее, чище! Станьте счастливыми!»

Этот призыв к совершенству и счастью, охватывающий все творчество Чехова, будет волновать людей всегда. Ибо всегда человек будет стремиться стать лучше.

Ю. ТРИФОНОВ

Читая и перечитывая...

ОБЯТЕЛЬНЫЙ образ одного из самых чеховских писателей земли вдохновляет нас и наших зарубежных друзей на борьбу за будущее. Как тут не вспомнить Толстого: «Чехов... несравненный... художник жизни... И достоинство его творчества то, что оно понятно и средно не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще... А это гавань...»

«...Он один из тех редких писателей, которых можно много раз перечитывать... это знание по собственному опыту...»

«...Звонко вспоминается один как будто незначительный случай. Родной человек... приехал ко мне в Минск редким и долготрапным гостем. Ходил со мной по музеям и театрам, смотрел наш новый город, многим восхищаясь. А потом вдруг этот человек — не литератор, инженер, влюбленный в свою энергетическую работу, — сказал:»

«Давно, брат, сегодня нигде не пойдешь, а сядешь да почитаешь Чехова...» И мы читали вдвоем и настольной лампой, в каком-то небывало уютном полумраке пустой комнаты. Взяли с полки первый попавшийся под руку том, зацепились за первый рассказ... И как же нам было хорошо! Как он похорошел, раскрывшись для меня еще одной стороной своей души, мой молодой далекий друг!.. Да, Чеховым начаться невозможно.

Я, например, читая-перечитывая его вот уже скоро тридцать лет, — начиная с той осени, когда мне, пятнадцатилетнему крестьянскому мальчугану, в одной из глухих западнобелорусских деревень пришлось случайно встретиться с «Бедными», «Белобогим» и «Ванькой», первыми для меня рассказами дорогого Антона Павловича. Тридцать лет — срок, кажется, вполне достаточный для самой основательной проверки чувств.

Старожилы Минска, друзья книги, помнят, как осенью 1944 года на мутных ринках освобожденного города-партизана появился первый вышедший том полного собрания сочинений и писем Чехова — еще одно прекрасное свидетельство нашей непоколебимости.

В те дни я наконец подумал, что вот и прочтено, наконец, Антона Павловича всего. Хахати, довольно с меня скупых, случайных встреч на нелегких тропках по панской, то гитлеровской оккупации!.. На протяжении восьми лет были, по мере их выхода из печати, прочитаны все двадцать томов. Но Чехов, как вскоре оказалось, еще еще не был мною прочитан окончательно.

Через два года мне выпала честь готовить к изданию большой однотомный избранный произведений Антона Павловича в переводе на белорусский язык. Переводя мою, пожалуй, наиболее любимую вещь — повесть «В овраге», редактируя переводы других товарищей и дважды на протяжении полугода читая корректуру, я окончательно убедился, что Чеховым начаться — нельзя. Он вечно нов и свеж, до конца не разгадан.

МИНСК



Музей-усадьба Мелихово. Дом А. П. Чехова. Рисунок С. М. ЧЕХОВА

Н А С было трое... Мелихово, 1960

машине, направленной по Серпуховскому шоссе; художник Сергей Михайлович Чехов, племянник Антона Павловича, фортельный мастер Федор Андреевич Желнин и ваш корреспондент Сергей Михайлович вес с собой лист картона с прикреплённым к нему ватманом и темную складную скамеечку, «Для этюдов», — решила Я.

Конечная цель поездки у всех одна — Мелихово. Задача — разные. Желнин, ну, пожалуй, спокойней всех: старый, оидный настроенный, он, конечно, хорошо выполнит свою миссию — приведет в порядок роль в чеховской гостиной, Сергей Михайлович в Мелихово — не как дома; в усадьбе и ее окрестностях он сделал около двухсот рисунков и сделать еще два, специально для «Литературной газеты» — не там уж ему трудно. А что ждет меня? Наверное, экспозиция? Удастся ли разыскать кого-нибудь из современников, помнящих Антона Павловича? Говорят, в деревне Угрюмово есть старушка, знавшая историю семьи бакалейщика, описанную в повести «В овраге», и будто эта старушка утверждает, что все события описаны правильно, но вот маленького-то Антонина не киниптом обварила, а стунула чашкой ткемали, он и помер, а насчет ковшика с кипитком — это де Антон Павлович сам сочинил. Вот бы расспросить ее поподробнее...»

«...Едва мы вошли в только что открывшийся дом-музей, построенный по описаниям Марии Павловны и засиженным пертежем Сергея Михайловича, как Желнин углубился в изучение рояля. Сергей Михайлович прошептал в кабинет директора, передал ему дар привезенные документы из семейного архива и, складную скамеечку, которую Антон Павлович постоянно брал с собой на рыбную ловлю.

Я стала осматривать дом. Это не была выставка, посвященная всей жизни и творчеству Чехова. Она охватывает лишь мелиховский период.

«Как удалось вам через столько лет собрать вещи, принадлежавшие Чехову?» — спросила я директора музея.

«Многие прислали нам Мария Павловна из Ялты. Часть сохранилась в Москве у родных, вот как та скамеечка. Письменный стол и кресла достались сюда Михаил Прокофьевич Симанов, наш нынешний смотритель музея.

Мы познакомились.

«Скажите, как вы узнали, что эти вещи принадлежали Чехову?»

«А как же я мог не узнать? Я их столько раз тут при Антоне Павловиче сам видел. Я же часто мальчишкой сюда бежал. Я уж тогда сапожником был, вместе с отцом за верстаком работал.

«Сапожником? Это не ваш ли отец «по секрету» поинтересовал Антону Павловичу сапоги в благодарность за то, что тот вывел его жену и самого его, не взыскивая денег?»

«Нет, сапоги чинил не отец, а дед мой, тоже сапожник, а я их рано утратил».

Антон Павлович как стал «убаваться», увидав сапоги и говорю: «Подлюк, сядь подметки здесь новые». Ну, горничная все ему и рассказала...»

Слово за слово, Михаил Прокофьевич рассказывал любопытный эпизод:

«Во время Великой Отечественной войны на балконишке флигеля установили зенитный пулемет. Я-то знал, что домик кружится, от стрельбы может рухнуть, и я стал хлопотать, чтобы пулемет убрали. Да и начальникам ведь не пройдем, не пускают. Тогда взял я книжечку «Мужики» и пошел во флигель. «Ты куда?» — спрашивают. «Да вот солдаткам книжечку несучи починить». Пропустили. Вошел я во флигель, отдал книжечку и стал рассказывать, как Антон Павлович сам строил этот дом, как любил его, как в нем работал, и сказал им, что жалко будет, если дом развалится. Прошло два три, и сморю, убирают пулемет с балкона. Так он и не выстрелил ни разу, и флигель наш уцелел.»

Во флигеле, куда мы зашли позднее, все стояло на своих местах, как при Чехове; побывавшие в Ялте крошечные с тумбочкой в крошечной спальне «духовые», как прозвал ее Антон Павлович, что в Ялте и зимой и летом было очень жарко, и письменный стол в кабинете, за которым писался «Чайка». На столе — маленький бюст, вырезанный из путешествия на Сахалин. Это старые старинные часы с маятником.

«Перед отъездом в Ялту, — замечил Алевксандр, — Антон Павлович подарил их своей горничной. Она умерла четыре года назад, часы эти остались у ее сводного брата Андрея Александровича Журавлева.»

«Где бы его найти?»

«Нет ничего проще: он служит у нас заместителем.»

Мы зашли Журавлева за работой. На правой руке Андрея Александровича на резке выделялся глубокий шрам.

«Это мальчишки меня покусали, когда я спот провалился. Тут, не знаю, что случилось, это случилось. Пришли мне всего в кровит к Антону Павловичу, он мне и зашил щеку. С тех пор я у них и остался вроде как воспитанником. Антон Павлович сказал мне часто рассказывал, хотел, чтобы я учился. Он мне раниц, книжки, пенал купил, подарил штаны и рубашку, а к зиме обещал шубу и валенки.»

«Старуху в деревне Угрюмово повидал мне не пришлось — она недавно умерла. Так и осталась невыясненной история с загубленным младенцем.»

Возвращаясь в усадьбу, шла я по широкому улицам колхоза имени Чехова. Проходя мимо школы, выстроенной Чеховым почти напротив усадьбы, вспомнила, как сетовал Антон Павлович по поводу тяжелого положения учителей. Он писал об учителе из Талеза Алексее Антоновиче Михайлове: «Учитель получает там 23 рубля в месяц, имеет жену, четверых детей, и уже сед, несмотря на свои 30 лет. До такой степени забит нуждой, что о чем бы ни заговорил с ним, он все сводит к вопросу о жалованьи.»

Поздно вечером, возвращаясь из Мелихово, мы проезжали мимо кварталов новых домов, выросших на одной из бывших окраин Москвы.

И мне пришли на память слова, услышанные два часа назад от научного сотрудника музея Л. Я. Лазаренко.

«В одном из новых домов, — сказала она, — живет старая учительница Мария Алексеевна Михайлова. Сейчас она на пенсии. У нее отличная квартира. И, если случится, она охотно расскажет вам, как ужасно жили учителя в прежние времена. Она хорошо знает это со слов своего отца; Мария Алексеевна — дочь того самого учителя из Талеза, о котором когда-то писал Антон Павлович Чехов.»

Е. ПЕЛЬСОН

ХУДОЖНИК

ТЕПЕРЬ даже трудно представить себе, что такое был Чехов для меня, подростка девятых годов.

Чеховские книги издавались мне в девятых годах единственной правдой обо всем, что творилось вокруг.

Читая чеховский рассказ или повесть, а потом глядящие в окошко и видя, как бы продолжение того, что читал. Все жители нашего города — все, как один человек, — были для меня персонажами Чехова. Других людей как будто не существовало на свете. Все их свадьбы, именины, разговоры, походы, прически и жесты, даже складки у них на одежде, были словно выхвачены из чеховских книг. И всякое облако, всякое дерево, всякая тропинка в лесу, всякий городской или деревенский пейзаж воспринимались мною, как цитаты из Чехова.

Такого тождества литературы и жизни я еще не наблюдал никогда.

Может быть, потому, что в его произведениях так полно выражалось наше собственное ощущение мира, я, провинциальный мальчишка, считал его величайшим художником, какой только существовал на земле. Помню, в гимназии, говоря о «Колесах» Гоголя, я выразился, к негодованию учителя, что она так хороша, будто написал ее Чехов.

И если в романе или рассказе Тургенев мне особенно нравился какой-нибудь зорко подметенный образ, написанный свежей, энергичной, уверенной кистью, я говорил:

«Это совсем как у Чехова!»

Главное, нельзя было вообразить себе другого писателя, который в ту данную пору был бы для меня роднее, чем он.

Всеведущими казались мне гении, создавшие «Войну и мир» и «Наразавных», но их книги были обо мне, а о ком-то другом. Когда же в приложении к «Ниве», которую я в ту пору выписывал, появилась чеховская повесть «Моя жизнь», мне почувствовалось, будто эта жизнь и вправду моя, словно я прочитал свой дневник — жизнь неприкаянного подростка девятых годов. И рассказ «Волода» был весь обо мне, так что мне даже стыдно было читать его вслух, и я не переставал удивляться, откуда Чехов так знает меня, все мои мысли и чувства.

Чехов был для меня и моих сверстников меридион вещей, и мы явственно слышали в его повестях и рассказах тот голос учителя жизни, которого не

против их затхлой дилекции я готов был поступать наоборот, — наперекор опустыленной пропасти.

Главная беда этих книг была в том, что к началу девятых годов из слова «идеал» уже окончательно выветрилось его прежние боевое значение, которое было присуще ему в шестидесятых и семидесятых годах, и в пору моей юности оно уже стало абстрактной, лишеной какого бы то ни было реального смысла. Уже у Нелсона оно звучало пустышкой — лишь как немая рифма к столь же абстрактному слову «Вал».

Вообще так называемая «идейная повесть» — живописная в шестидесятых годах повесть Чернышевского. Помню, как какой-нибудь дядя Ваня — по-прежнему остается самым сложным и загадочным явлением природы. Мы будем еще много веков узнавать себя и удивляться. А значит будем читать Чехова.

Разве не удивительно: нам, советским людям, понятны и близки мысли и чувства чеховских героев! Ведь наша страна изменилась неузнаваемо, изменились нравы, быт людей, строй жизни, весь мир, нас окружающий. И однако — как близки, как понятны! Но не щемящая сердце грусть, не безнадежная мечтательность чеховских героев делают их такими близкими. Нас волнует другое. Мы чувствуем исходящий из чеховских рассказов и повес страстный призыв: «Люди, сделайте лучше! Будьте добрее, красивее, чище! Станьте счастливыми!»

Этот призыв к совершенству и счастью, охватывающий все творчество Чехова, будет волновать людей всегда. Ибо всегда человек будет стремиться стать лучше.

Ю. ТРИФОНОВ

Корней ЧУКОВСКИЙ

расслышал в них ни один человек из так называемого поколения отцов.

Каким-то загадочным образом — я тогда не понимал, почему — его творчеству мы подчинились так охотно и радостно, как не подчинились бы самым громким нравоучительным лозунгам. Казалось бы, весь поглощенный своей гениальной живописью, он меньше всего притязал на роль проповедника, идеального вождя молодежи, а между тем спускал нам удавалось убеждать лишь потому, что он, словно целоком, вытрапывал из нас всякую душевную дрянь.

Других учителей у меня не было. Да же легальные марксисты оставались для нас неведомыми. Боевые программы народников к тому времени уже окончательно выродились в плоские, бескрасивые прописки, а модные в ту пору толстовство, воплотившееся в секту косноязычных и унылых святош, отдалкивало своей пресной бесцельностью.

И мне оставалось единственное прибежище — Чехов. И всех людей я делил тогда на два враждующих стана: на тех, кто «чувствует Чехова», и на тех, кто «не чувствует Чехова». И мне даже дико вспомнить, какую наивную нежность вынашивала мне та порода людей, для которых Чехов был чужой. А так как в ту пору было много и раньше всего — большинство стариков. Те, кому тогда было за сорок, у кого в волосах была проседь, составляли дружную оппозицию Чехову. Широкий успех его книг казался им общественным несчастьем. «Хуже всего то, что у него есть талант», — говорили они и считали своей священной обязанностью спастись от него молоденьким.

Меня они спасали не раз — те из них, которые относились ко мне благожелательно. Чуть они узнавали о моей «одержимости Чеховым», они начинали смотреть на меня как на опасного злодея и в качестве античеховских сделок предлагали мне журнальные повести Зюссимовича, Вакина, Мачегаты, Михайлова-Шеллера, но какими-то стариковыми, сусальными, убого-фильмовыми казались мне «эти образы идейные» книги на фоне своего правдивой и утонченной чеховской живописи. Вообще проповедь этих нравоучительных книг была так трафаретна, схематична, навязчива, что из молодого протеста

ности в их стихах лучше всего отразилось то трафаретное, штампованное мнение о Чехове, которое было канонизировано тогдашней эпохой.

То были массовая слепота, массовый гипноз, эпидемия. Среди этих слепых одним из немногих ярычых оказался азот своеобразного стихотворения о Чехове, совершенно непохожее на все остальные и, в сущности, враждебное им.

Стихотворение прошло незамеченным, так как в нем не было ни «чуждых аккордов», ни «мелодичных слез», но была, пусть и неполная, правда о Чехове, совершенно свободная от той дешевой банальности, которой требовал тогдашний читатель.

Стихотворение суховатое, без всяких эмоций, без лирики. Оно похоже на безглагольный набросок. И все же в нем видится мне подлинный Чехов, такой, каким он был на самом деле, хоть и воспринятый только с одной стороны. Поэт зарисовал его в Ялте, Чехов, больной, одинокий, вышел из своего белого дома и бродит по саду:

Хруста по серой гальке, он прошел
Покатый сад, взглянул по водоемам,
Сел на скамью... За новым белым домом
Хрустят Ялы и близок и жалел...

Дни Чехова уже сочтены, и он хорошо это знает:

Он, улыбаясь, думает о том,
Как будет явиться его — как сыны
На жарком солнце траурные ризы,
Как желт огонь, как бел на синем дом.

Самое удивительное в этих строках — неожиданный слог «улыбаясь». Помню, когда я читал их впервые, оно поразило меня больше всего: как может человек улыбаться, думая о собственных похоронах? Рагадга этой странности — в глаголе. Стихотворение называется «Художники». По мысли автора, Чехову как художнику до такой степени было любо и весело пососаждать в своем воображении ту или иную картину из материального мира, все его краски, очертания и образы, что он с узыбой рисовал перед собою даже картину своих похорон — всю до мельчайших деталей: и солнечные блины на черных одеждах, и огни восточных погребальных свечей.

Автор стихотворения — Бунина, хорошо и близко знавший Чехова. Возможно, что приведенные строки всего лишь вымысел, предположение, догадка, но все же мне кажется, здесь очень верно подмечено и выдвинуто на первое место самое что ни на есть основное в личности и творчестве Чехова: его неясности, ни когда не ослабевающий, жгу-

чий, живой интерес ко всякому проявлению жизни, ко всякому ее воплощению в зримых и осязаемых образах. Зримый и осязаемый образ — главный ресурс его творчества и, как мы ниже увидим, главнейший посредник между ним и читателем. Мало было в русской литературе художников, которые так услаждались бы образами, которые так бы их подмечали, так охотились бы за ними повсюду и, главное, обладали бы таким виртуозным, непревзойденным искусством высказывать при помощи простых и, казалось бы, незатейливых образов самые сложные, тонкие, почти неуловимые мысли и чувства.

Здесь была основа основ его творчества. И хотя невозможно сводить, вслед за этим стихотворением Бунина, все внутреннее содержание Чехова к этой одной-единственной черте его духовного склада, мы, принимаясь за изучение его художественных приемов и методов, должны с самого начала сказать, что она в его творчестве особенно поражает.

Всякий кусок жизни со всеми своими запахами, красками, звуками, формами неотразимо привлекал к себе Чехова, — будет ли это человек, или птица, или морская волна, или облако, — и для него самым истинным счастьем запечатлеть эти образы в слове, ибо каждый из них был дорог ему как находка, как подарок, как обогащение души.

И не было в окружающей жизни такой самой ничтожной и мелкой детали, которую вздумалось бы ему пренебречь. Со стороны это чрезмерное внимание к деталям могло даже показаться роюдиновским. Кто, например, кроме Чехова, стал бы в письме к домашним сообщать ни с того ни с сего, как именно держит свой рот во время произнесения слов тот или иной незнакомец субъект, встреченный случайно в вагоне.

По Чехову это так интересно, что он в одном из своих писем к родным сообщает как немаловажное сведение, что некий пассажир в его поезде, «прежде чем сказать слово, долго держит раскрытый рот, а сказав слово, долго рычит по-собачьи: э-э-э...».

И в том же письме об одной тагарской девице:

«...Когда она смеется, то нос ее прижимается к лицу, а подбородок, морщины, лезет к носу.»

И также, например, было дело его другу Суворову до всех многочисленных чеховцев той захолустной семьи, у которой Чехов сяд да в конце восьмидесятых годов! Но Чехову эти люди (как и всякие другие) до того любопытны и творчестве Чехова: его неясности, ни когда не ослабевающий, жгу-

подробно сообщая, что одна из хозяек дачи, костлявая, как лебедь, мускулистая, сильная, чудесное телосложение, зато лаяла, торжественная, другая ходила «по темной аллее, как животное, которое заперли», а третья обладает какими-то и какими-то качествами, а братья у них такие-то, а мать добрая, сырая старуха (и тут же следует изображение матери) — словом, написал чуть не целую галерею портретов, изображающих каждого из хозяев дачи, на которой он собрался провести два месяца.

Но Чехову это было так любопытно, что он с охотничьим азартом выслеживал, как дорогую добычу, каждый, какой-нибудь факт, зауряднейший факт окружающей его общины:

и то, что гуси на зеленом лугу тянутся длинной белой гирляндой;

ТУНИС, АЛЖИР...



ВНИМАНИЕ всего мира привлечено в эти дни к Северной Африке. В Тунисе открылась Вторая конференция народов Африки. Делегаты, представляющие почти все колониальные страны этого континента, говорят о стремлении народов к свободе и независимости, призывают к активной борьбе против колониализма, к объединению Африки.

Одна из баррикад, построенных мятежниками в центре города Алжир. На первом плане — солдаты французских правительственных войск с пулеметами, на принимающие никаких мер.



Странное «перемещение» в Алжире — правительственные войска мирно наблюдают за доставкой продуктов мятежникам.

И в это самое время в Алжире, граничащем с Тунисом, ультраколониалисты, фашисты, «гари» событий 13 мая подняли мятеж, стремясь помешать национальному движению современности. Их цель — поработить алжирский народ, заставить его отказаться от надежды на независимость. Те самые палачи, которые зверски расправлялись с алжирцами, пытали и расстреливали их, строят теперь баррикады на улицах алжирских городов, стреляют по правительственным войскам...

К чему стремятся «ультраколониалисты»? Мятежники полагают, что им удастся методами давления заставить французское правительство отказаться от своих прежних заявлений, в которых алжирцам было обещано право на самоопределение, на свободный выбор своего будущего.

Американская газета «Нью-Йорк таймс» весьма резко оценила создающую обстановку. Она пишет: «Водоворот событий, охватывающий сейчас Африку и похожий на то, что наблюдается в проснувшейся Азии, широко иллюстрируется событиями в двух соседних странах. В Тунисе президент Бургиба заявляет перед притесняемыми его делегатами Второй конференции народов Африки, что наступила эра освобождения, которая должна привести к образованию Соединенных Штатов Африки, если возможно — мирным

путем, а если понадобится — силой. В Алжире, с другой стороны, вероломные колонисты, сопровождаемые кровопролитием и постройкой баррикад, чтобы помешать такому ходу событий, распространяются на их страну. Они хотят, чтобы все оставалось по-прежнему. Это действительно так. И для того, чтобы оставить все по-прежнему, им нужны слова, сохраняющие колониальные порядки в Алжире, мятежники идут на все. Они бросили открытый вызов французскому правительству. Бесчинства фашистов в дается в проснувшейся Азии, Алжире нарастают.

Во Франции и других западноевропейских странах восторжены тем, что французские власти не принимают жестких мер по отношению к ультраколониалистам. Значительные силы правительственных войск и жандармерии, еще два дня назад оккупировавшие позиции мятежников, сравнительно немногочисленные и вооруженные лишь легким

«ЧЕЛОВЕК СТАНЕТ ЛУЧШЕ...»

(Юношанье. Начало на 4.А стр.)

Видно было, как человек, жажда любви и ласки искажен, искалечен жизнью.

И мы начинаем ощущать тоску автора по иной, прекрасной, не грубой, а нежной, подлинно человеческой жизни. И в каком-то смысле можно сказать, что это, нежно касающийся щеки, — аристократическая красота и человечность. Без него система образов этого рассказа была бы иной. Пусть это даже не развитый, не развернутый образ, а, на первый взгляд, мимолетное брошенное сравнение. В художественном произведении вовсе не обязательно, чтобы к главному вели указательные стрелки, чтобы о важном говорилось громко. Чего умеет говорить о самом главном мимолетное, не потому, что это меньше его интересует. Самая «мимолетность» глубоко условна. На самом-то деле в таком внешне малоинтересном фразе у Чехова часто сохлостятся все скрытые нити образной системы.

Не контраст красоты природы и человеческой грубости утверждается в рассказе. Мы ощущаем тоску автора по той человечности, которая не «вне» героя, но как бы бражит в них самих. Однако эта человечность красота, любовь предстанут перед нами в каком-то «непроявленном» виде, омытые душевной неяркостью, грубая жизнь глумит их. И тито касающийся щеки цветков, это поэтическое олицетворение доверливой ласки и нежности, не просто «сприятельности» героя. Он отталкивает то, что не хавет им, но что могло бы у них быть. Уберите мысленно этот цветочек — и сразу же терется важный момент общего замысла и звучания рассказа. Остается стихийная страсть Адафа, но исчезает грустная, смутная мысль автора о разобщенности любви и познания, наслаждения и человеческой доброты, светлой нежности.

Мастерство Чехова подчинено главной писательской задаче — пробудить человека, заставить его поверить в себя, в возможность быть лучше. Как бы ни была завалена душа человека, — в душу просветит весна. Вот в нем скрытый нерв чеховского творчества, при всей его сдержанности, драматического и конфликтного.

В рассказе «Пенечег» (1897) перед нами уже совсем опустившийся человек, грубый, идиллически-невежественный — казначий офицер в отставке Жмухин. У него остается ночевать частный поверенный. Жмухин всю ночь говорит о том, что человек никогда лучше не будет, душа его не переменилась, что женщины он за человека не считает, и т. д. Забывая болтливую речь раздается в душевной комнате, с низким потопком, с мухами и осами.

Но все это лишь один план. Жмухин все еще говорит, как вдруг в повествование вливается голос автора. В резком контрасте с душевной комнаткой Жмухина

АМЕРИКАНСКИЕ ЗАПИСИ

В числе других советских литераторов и журналистов Н. Грибачев совершил в советском посольстве в Вашингтоне поездку по Соединенным Штатам Америки. Сегодня мы поместим записки из блокнота писателя.

— Верно! — поддерживают журналисты.

Станция Сан-Луис-Обиспо между Лос-Анжелосом и Сан-Франциско. Никита Сергеевич Хрущев в сопровождении Генри Кэбота Лоджа и других выходит из вагона и сразу оказывается в густой толпе. Вокруг него мелькают улыбающиеся лица, протянутые для приветствия руки, слышатся довольный смех, оживленный говор. «Вашего премьеры тянет в народ, как рыбу в воду, тут он в своей стихии», — комментирует американский журналист в вагоне прессы. Подал сигнал к отправлению. В бурлящем человеческом водовороте, с которым ничего не могут поделать ни полиция, ни сопровождающие лица, Н. С. Хрущев добрался до вагона. Поезд трогается, но оказывается, Генри Кэбот Лодж все еще не может вырваться из толпы, тем более что на его усилия американцы и не обращают внимания. «Спасайте Лоджа!» — смеется И. С. Хрущев и сам протягивает ему руку. Тот же американский журналист улыбается и говорит:

— Смотрите, социализм помог капитализму не отстать от поезда. Историчность и сенсационно, обязательно напишу об этом в газету!

Холл отеля в Де-Мойне. Банная дужка, — рубашки прилипли к телу. — толстая, неразбериха чехлоданов, сигаретный дым. Ночь не спали, с номерами идет какая-то канитель, а через пятьдесят минут уже надо куда-то ехать на осмотр предприятия, потом на прием. Стоим в очереди за ключами, застряли в промежутке между конторкой и стеной. Полуобернувшись, американский корреспондент спрашивает с явным оттенком недовольства:

— Скажите, ваш премьер работает на атомном или термоядерном горючем? — Коммуленко. А что? — К концу поездки в корреспондентском корпусе толстые станут худыми. А что останется от худых? — А зачем предлагали такую программу? — А зачем он соглашался? — А вы?!

В это время подают ключи, и мы гаплом несемся к лифту.

Фраза в студенческой газете Эймса: «Мы хотим унаследовать мир». Первые статьи в Америке со словом «наследство» не следуют слову «доллары». С непривычки чудовато, но — чудесно!

Генри Кэбот Лодж, сопровождающий Н. С. Хрущева, отпрыс не только двух богатейших, но и двух самых аристократических семейств Бостона. Здесь говорит: «Работы разговаривать с Лоджами, а Лоджи — только с Богом».

Аюва. Росуэлл Гарст, показывая санитарник, говорит, что в области физиологии у синьих много общего с человеком. Хрущев хитро шурит глаза, смеется:

— Ну, ладно, мы, материалисты, как-нибудь с этим смиримся. А каково моему другу Лоджу? Не единичный разгромленный в словесных дуэлях, Генри Кэбот Лодж не принимает вызова, бормочет:

— Нет, почему же... Мы тоже приносим... Американская пресса учится новому языку в отношении Советского Союза. «Вашингтон пост энд Таймс» галерья пишет:

«Господин Хрущев преподносит свой принцип о том, что коммунизм одержит верх, с такой убедительностью, твердостью и столь неустанно, что в Соединенных Штатах редко можно встретить кто-либо подобное. Наша газета глубоко верит в то, что свободная система бесконечно выше и может одержать верх. Однако в отношении таких важных областей, как расходы на исследование, руководство научной деятельностью и стимулирование национального экономического развития, имеется серьезное мало указаний на то, что выступление господина Хрущева было воспринято как совершенно серьезный вызов, а ведь таким оно и было на самом деле».

Все верно. Однако газета напрасно с прискорбением кивает на других — она сама еще позавчера бойко торговалась иллюзиями вечного американского превосходства. А теперь пожинает в изобилии то, что сеяла!

Уолтер Липпман, один из виднейших американских газетных обозревателей, пишет в связи с подозрительной возней «перемещенных лиц»: «...Пора нам научиться опасаться наших политических, которые опираются на эмигрантские подпорки». Значит, опираются? А мы даже не подозревали, что это возможно — слишком уж гнилой материал...

Канун визита. Газетная полоса. В самом верху, на видном месте, интервью американского кардинала Сплэмана, который недавно приглашен Н. С. Хрущевым в США. Ниже — разгоряченные комментарии к приезду советского премьера.

Вторая половина визита. Газетная полоса. Сверху — большая фотография Н. С. Хрущева с народом, во всю полосу доброджелательные комментарии. А в самом низу, в уголке, интервью американского кардинала Сплэмана, который все еще недоволен визитом.

Какое падение за одну неделю!

Питтсбург. Время — около полуночи. Едем в отель. Город темен и пахнет дымком и окалиной, словно кузнецкий цех. В самом центре — два полуобескура, в каждом окне, сверху донизу, на полную мощность горят лампы дневного света. Недоумеваем: что за иллюминация?

Ответ дает утренние газеты: «Чтобы компенсировать отсутствие зарез в связи с забастовкой рабочих сталелитей-

Летим на высоте девяти километров в районе Скалистых гор, а затем Гранд-Найона — гигантского, глубокого около километра ущелья, прорытого в красноватой почве рекой Колорадо. Черные невысокие горные хребты, кое где уже припорошенные снежком, красноватые долины без единого признака жизни — ни жилья, ни тропинок, — все густоющая и горизонтально, неважно подобная для глаз синеве. А облаковому всему при взгляде сверху на землю настраиваются легкие белые облака, похихивая на языки солончак. Пьем американское пиво, малоалкогольное и очень хорошее по вкусу. Показывая лива, американские корреспонденты хвастают:

— Уникальные места... Одно из чудес света! Смеемся:

— Вы что же, организовали лунный пейзаж прямо в центре Америки, чтобы не канителиться с ракетами и полетами? Отшучиваются:

— Ладно уж, не зазнавайтесь — мы тоже были во многом первыми в мире. Вот зазаваетесь — и вам наступит на пятки... Утем.

Пресс-вагон поезда, идущего из Лос-Анжелоса в Сан-Франциско. Шуршат ручки и караданки, стучат пишущие машинки. Вдруг в конце вагона возникает шум — Никита Сергеевич Хрущев решил пройти вдоль поезда и побеседовать с журналистами. В середине вагона его останавливают, спрашивают:

— Господин Хрущев, в путешествии с вами мы уже потеряли ощущение разницы между днем и ночью... Скажите, когда вы работали шахтером, вы бывали таким грязным и усталым, как мы?

Никита Сергеевич улыбается:

— Вы — журналисты и знаете изречение: терпите, и воздастся, действуйте, и вознаграждается... Еще несколько шагов по вагону. Пожилая корреспондентка женского журнала приветствует Н. С. Хрущева и спрашивает:

— Скажите, что вы думаете о канкане, который был показан в Голливуде?

Никита Сергеевич коротко говорит о советском взгляде на искусство и заключает афористической фразой, которая вызывает шумное одобрение окружающих и приводит корреспондентку в полную растерянность:

— Каждая часть человеческого тела должна находиться на своем месте и служить своему назначению. Разве не правда?

Главный редактор С. С. СМЕРНОВ. Редакционная коллегия: В. Н. БОЛХОВИТНОВ, Ю. В. БОНДАРЕВ, Б. А. ГАЛИН, Г. Д. ГУЛИН, В. А. КОСОЛАПОВ (зам. главного редактора), М. М. КУЗНЕЦОВ (зам. главного редактора), Б. Л. ЛЕОНТЬЕВ, Г. М. МАРКОВ, В. С. МЕДВЕДЕВ, В. А. СОЛОХИН, Е. Д. СУРКОВ, А. С. ТЕРТЕРЯН.

Адрес редакции и издательства: Москва И-51, Цветной бульвар, 9/1 (для телеграмм Москва, Литвагавт). Телефоны: секретариат — К 4-04-82, оталы: русской литературы — В 8-99-33, искусства — В 1-11-69, литературы народов СССР — В 8-59-17, внутренней связи — К 4-03-48, зарубежной литературы и искусства — К 4-84-28, информации — К 4-08-89, писем — В 1-18-23, издательство — К 4-11-88. Коммутиатор — К 5-00-00.

Типография «Литературной газеты» Москва И-51, Цветной бульвар, 80.

Вашингтон. Прощальное выступление Н. С. Хрущева по телевидению. В полуоблачные небо небольшого кафе-терия к телевизору стягиваются посетители — смотрят, слушают. В высоких стаканах с пивом шуршит и оседает пена. Советский премьер говорит о целях своего визита, о Советском Союзе, о мире. Как только он заканчивает, три телекомментатора бросаются по следу его выступления, пытаясь перетолковать в выгодном для американской политики духе его доводы, ослабить впечатление. Хозяйка, немолодая и худенькая женщина, обводит взглядом лица посетителей и, словно что-то прочитав на них, подходит к телевизору, Щелчок.

Телекомментаторы на полулове проваливаются во тьму. На экране — беисбол. Посетители расходятся. И за все время — ни одного слова.

Обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Рстон пишет о Н. С. Хрущеве: «Никто из пристально наблюдавших за Хрущевым не может сомневаться в его твердом намерении и способности осуществить свои планы... Он продемонстрировал нам такую жизнеспособность, какой здесь не видели несколько десятков лет.

Он не проехал ни одной мили, не произнес ни одной речи, не поцеловал ни одного ребенка, не провел ни одной беседы с рабочим, не провозгласил ни одного поста без того, чтобы это не способствовало его главной цели. И после тринадцатидесяти суток пребывания в Америке, в иные из которых он был занят до восемнадцати часов, он не отдыхая, направился в Москве прямо на митинг, продолжавшийся два часа, а затем вылетел в Пекин...

Влетаем в ночное небо. А ночи почти не видим — съедена скоростью саж молета и встречным вращением земли.

Это наводит на разные размышления. У нас много книг, в которых воплощены мечты фантастов. А где достать хорошую книгу, в которой воплощена фантастика яны?

Земля вращается не только вокруг себя самой, но и вокруг солнца. В отличие от поттов, которые вращаются только вокруг самих себя.

Вспоминается кем-то сказанное: — Самый перспективный путь — в гору! — Самая короткая дорога — домой!

С. С. МОКУЛЬСКИЙ

25 января на 64-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался крупный советский ученый, один из основоположников советского театроведения, профессор, доктор филологических наук Стефан Стефанович Мокучский. Закончив в 1918 году Киевский университет, С. С. Мокучский смолodu посвятил себя изучению западноевропейской литературы и театра. Его научная работа в этой области привела к созданию ряда фундаментальных трудов. Книги С. С. Мокучского — двухтомная «История западноевропейского театра» монография о творчестве Мольера, Расина, Бомарше, дважды издававшаяся «Хрестоматия по истории западноевропейского театра», его работы о Данте, Вольтере, Лессаже, Гюго, Голдони, Филдинге и многие другие составили ценнейший вклад большого ученого в советское искусствознание и литературоведение. Много энергии отдавал С. С. Мокучский изучению советского театра и критической деятельности. Научно-исследовательскую работу С. С. Мокучский на протяжении всей своей жизни плодотворно сочетал с интенсивней педагогической деятельностью. Им воспитаны многие поколения советских театроведов. Ему всегда свойственны были глубоко ответственное, самоотверженное отношение к труду, подлинная партийность в науке. В 1940 году С. С. Мокучский вступил в КПСС. В последнее время С. С. Мокучский возглавлял сектор истории театра Института истории искусств Академии наук СССР, заведовал кафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа имени Луначевского, был главным редактором Театрального энциклопедического словаря. Научные заслуги С. С. Мокучского были высоко оценены Советским правительством. Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Светлая память о замечательном ученом всегда будет жить в наших сердцах. А. Н. Кузнецов, И. Э. Грабарь, Ю. С. Калашников, Б. М. Ярустовский, Ю. И. Денисов, М. А. Горбунов, В. Н. Лазарев, Г. Н. Бождаев, А. А. Анисков, В. Н. Всеволодский, В. Г. Волотов, А. Н. Анастасев, Б. И. Ассес, Н. Г. Зоргал, Ю. А. Дмитриев, Б. И. Ростоцкий, К. Л. Рудинский, Т. М. Родина, Л. П. Солнцева, С. И. Тихонов, Н. Г. Литвиненко, О. Н. Кайдалова, Л. М. Леонов, А. Г. Образцова, А. Г. Коопен, Г. А. Хайченко.